

От редактора

Елена Севрюгина – молодой, но уже широко заявивший о себе критик. У неё есть филологическое образование. То, что она сама пишет стихи, помогает ей глубже понимать природу творчества других авторов. В этом номере журнала мы публикуем её критическую статью о творчестве Владислава Пенькова. Влад недавно, к сожалению, покинул нас. Поэтому работа Севрюгиной – это ещё и дань памяти нашего талантливого товарища по перу. Мы в ответе за тех, кого уже нет с нами.

А. К.

ЧЕЛОВЕК НА ГОРЕ

О творчестве Влада Пенькова.

Настоящая поэзия должна рождать в сознании и душе читателя ощущение неуспокоенности, потребность что-то изменить. Творчество Влада Пенькова, совсем недавно ушедшего от нас, имеет ярко выраженный оттенок тревоги. Кажется, он пришёл, чтобы сказать: *«что-то неладно в королевстве датском, мир несовершенен».*

Говорить о поэте непросто – при всей своей кажущейся доступности, открытости для читателя, он понятен далеко не каждому. Требуется духовное усилие, чтобы по-настоящему услышать слегка приглушённый, но глубоко трагический, по сути, голос. Потому что трагедийное скрывается у Пенькова за внешней игровой формой, за постмодернистскими приёмами, интертекстом и неочевидностью. А между тем вдумчивому читателю могут открыться такие культурные пласты и подтексты, которые редко у кого встретишь.

Поэтическое мировоззрение Влада вырастает из мощного литературного наследия: тут и русские, и зарубежные авторы, и дух великого, милосердного Джона Донна, точно знающего, *«по ком звонит колокол»*. Похоже, это знание передалось по наследству и нашему талантливому современнику: о чём бы ни писал Пеньков, в какую бы жизненную рутину ни облекал свою мысль – всё равно в его строках ощутимо дыхание «туманного Альбиона». Это отголоски той страны обетованной, которая дала миру величайшего гуманиста всех времён и народов: *горстка праха, мёда горстка – вместе музыка, когда гладит Донн по тёплой шёрстке миновавшие года*.

Даже в самых неприглядных, отталкивающих формах земного Влад Пеньков, остро ощущая «во вселенной неполадку», отыскивает прообраз утраченного идеала. Жаль правда, что только *«порция московского разлива»* способна ненадолго превратить *«розовую кукольную тушку»* Гали-продавщицы в изящный силуэт прекрасной и призрачной Леди Джейн.

Тоска по возвышенному, попытка увидеть сквозь бытовое, повседневное краешек иной жизни, домыслить прекрасный образ – черта, присущая поэту, отличающая его от остальных. Возможно, поэтому так часто в его стихах упоминается небо – то высокое и недостижимое, то мрачное, засоренное «вороньей лузгой». Но всегда в художественном мире Пенькова оно становится частью антитезы *человек/Бог, плотское/духовное, реальное/желаемое*. И чем непригляднее, безотраднее земная жизнь человека, тем сильнее чувство тревоги и тоски по иному, почти забытому, но смутно припоминаемому: *А хочется – неба и блеска, чего-то такого, о чём летают – в окне занавеска и ангел за правым плечом*.

При всей современности звучания Влад Пеньков является в каком-то смысле хрестоматийным, классическим поэтом, беззаветно преданным творчеству, поклоняющимся поэзии как святыне, категорически не приемлющим глупость, пошлость, усреднённость во всех формах её проявлений. Весьма ощутимо, что планка его требований к самому себе тоже непомерно высока: отсюда стремление к филигранности формы, лишь внешне кажущейся неприхотливой, и глубине содержания.

И если говорить о традиции, то вне всяких сомнений можно утверждать, что Пенькову очень близка поэтика декаданса с характерным для неё густым пессимизмом в духе Бодлера, обречённостью, безысходностью. Его стихи можно сравнить с графическими рисунками, где тёмные, даже серые, тона явно преобладают. Человек «заточён» в брэнную плоть, как в башню, оттого никогда не подняться ему к той высоте, где властвуют иные законы, иные ценности: *Золотая пора листопада... Это ясно. А дальше-то как? Ветерок чёрно-серого ада просвистит в снегиря как в кулак ...брешут частных застроек собаки, ад свистит, снегири мельтешат. Очень больно мотает на траки плоть живую живая душа.*

Нередко трагедийность звучания у Влада подчёркивается гротесковой амбивалентностью образов. Низменное, бытовое может сопрягаться с возвышенным, сакральным в контексте окказиональной авторской метафоры, но не с целью «примирить» между собой эти противоположные миры, а для того чтобы показать абсурдность и мелочность человеческой жизни на фоне безграничного, всеобъемлющего мироздания. От этого разительного контраста душа лирического героя Пенькова наполняется мрачным весельем заключённого накануне казни: *Сидишь над тарелочкой кильки и в приступе водочной жажды. А мир, как цитата из Рильке, – прекрасен, напрасен, однажды. И звёзды пылают и бьются, летят по вселенной осколки, как будто раскокали блюдец вот с этой – пряной засолки. И где же мне место под небом – однаждыным, прекрасным, весенним? И смотришь на ломтики хлеба и рыбу – с фатальным весельем/.*

Существуют поэты-мифотворцы, создатели альтернативных миров, а вот Влад скорее все мифы и сказки развенчивает, нежели создаёт. Не особо щадя своего читателя, он со всей откровенностью заявляет, что в заурядном сознании обывателя просто не остаётся места для сказки, что любая, даже самая красивая история в реалиях нынешних дней неминуемо превращается в серую и неприглядную прозу жизни. Данная мысль, кстати, очень характерна для постмодернистского сознания, в котором художественное пространство опустошено, десакрализовано: *вот такой, понимаешь ли, пушкин раздубочный присутствует здесь. А вагонов товарных частушки враз собьют институтскую спесь. И пойдёт по железной дороге, как по рекам молочным ладья, чтобы вечно стоять на пороге аввакумовского жития.*

Не удивительно, что в своих самых сокровенных мыслях и тёмных предчувствиях поэт всегда остаётся одиноким, непонятым. Много ли найдётся людей, которым будет приятно читать о собственных недостатках и несовершенстве мира? Поэтому Влад Пеньков кажется мне замкнутой планетой, вполне самодостаточной, но

ещё довольно малоизученной. А ещё на ум приходит образ человека на горе – он стоит, одинокий, на самой вершине, и видит то, чего другие, не добравшись до подобной высоты, увидеть не в состоянии. И вот, испытав экзистенциальный ужас от увиденной им картины, человек начинает звать на помощь, бить в колокол, призывать людей к действию. Однако его глас остаётся гласом вопиющего в пустыне – слишком уж высоко он забрался, голос его неслышен, недоступен для окружающих.

Но ничего не происходит просто так, и если голос провидца остаётся недостижимым для земли, то, скорее всего, он рано или поздно сможет достучаться до небес. И тогда, уже с качественно новой высоты, послание, адресованное людям, наконец-то будет прочитано, и если не осмыслено до конца, то хотя бы сохранено для потомков: *Вы кого другого пожалейте. Здесь Агарь, так вышло, ни при чём. У неё – играющий на флейте ангел за сияющим плечом. Ангел гневный, ангел золотистый. Нам ещё аукнется потом музыка небесного флейтиста – нежность, извлекаемая ртом.*